



А. КИЗЕВЕТТЕР

О сборнике «Вехи»

Маленький сборник «Вехи» вызвал очень большой шум в прессе и обществе. На горизонте журналистики загремели громы и заблестали молнии. Одно собрание достаточно взрослых людей вынесло даже специальную резолюцию, выражающую порицание и строгий выговор «Вехам» за непочтительное отношение к интеллигенции. Все это как нельзя лучше указывает на то, что «Вехи» ударили в какое-то больное место нашей современности, подняли вопросы, действительно назревшие, острые и для многих мучительные.

Думаю, что в этом заключается несомненная публицистическая заслуга авторов сборника. В русском обществе довольно распространено мнение, что о вопросах наиболее жгучих, наиболее волнующих сознание следует как можно меньше говорить во всеуслышание, всякие громкие разговоры плодят несогласия и, следовательно, вредят «общему делу», — вот соображение, в силу которого мы сплошь и рядом добровольно накладываем табу на обсуждение тем, как раз в особенности нуждающихся во всестороннем освещении.

Мы боимся, что наши речи подвергнутся тотчас же ложному перетолкованию врагами дорогих нам убеждений, и во избежание такой неприятности предпочитаем хранить про себя то, к чему с наибольшей силою влекутся наши помыслы. Не ошибочен ли подобный прием? Не в атмосфере ли молчания утрачивается как раз способность к взаимному пониманию и беспрепятственно зреют роковые недоразумения, остающиеся неустранимыми только потому, что они не были высказаны?

И посмотрите, с какой страстностью набрасываются все на обсуждение вопросов, о которых «не было принято говорить», — лишь только какой-нибудь смельчак неожиданно сломит печать всеобщего молчания. Обыкновенно все осыпает такого смель-

чака упреками за то, что он поднял неудобную и щекотливую тему, а за этими упреками, сопровождающимися горячим обсуждением поднятой темы, так и чувствуется общее желание высказать наконец все то, что так долго безгласно копилось в одиноких размышлениях.

«Вехи» как раз затронули ряд таких вопросов, о которых все мы перед этим очень много намолчались. И потому-то о «Вехах» все сразу наперебой заговорили, и потому-то эти разговоры тотчас же приняли такой запальчивый характер. Первое, почти произвольное движение, сделанное критикой при появлении «Вех», было направлено на то, чтобы как-нибудь поскорее отмахнуться от этой дерзкой книжки, ворвавшейся внезапным диссонансом в размеренное и налаженное журчание наших обычных разговоров на общественные темы. Словно разбуженная от спокойного сна уколом шмелиного жала, критика испуганно замахала руками сразу во все стороны, не замечая, что ее удары приходятся по воздуху и потому совершенно бесцельны. В самом деле, от излишней поспешности и чрезмерной взволнованности критики прежде всего начали отстаивать положения, которых вовсе не думали отрицать и сами авторы дерзновенного сборника. В первой большой газетной статье о «Вехах» было заявлено, что отмеченные в сборнике недостатки русской интеллигенции действительно присущи последней, но что недостатки эти не подлежат обличению, потому что у них имеются свои причины. Авторы «Вех» предъявляют русской интеллигенции суровый обвинительный акт, но подумали ли они о тех исторических условиях, в которых приходилось существовать русскому обществу и которые неизбежно должны были породить все то, что служит предметом нападков со стороны новоявленных строгих судей русской интеллигенции? Такова была первая печатная отповедь «Вехам».

Признаюсь, она меня удивила. Разве обличая какое-нибудь явление, мы тем самым признаем его беспричинным? И разве напоминание об условиях, вызвавших тот или иной нежелательный факт, уже лишает нас оснований критиковать его? Двух ответов на эти вопросы быть не может, и потому первый удар критики, направленный по адресу «Вех», несомненно пришелся не по сборнику, а по воздуху. Такого рода обвинительные аргументы обыкновенно выдвигаются на суде защитниками подсудимых в тех случаях, когда виновность не подлежит уже сомнению, но есть надежда выискать смягчающие обстоятельства. И не случайно критик, выдвинувший этот аргумент, всю свою статью построил на уподоблении «Вех» судебной речи

прокурора, себя самого избрав в защитники подсудимой интеллигенции. Я готов согласиться с тем, что перед лицом прокурорской власти, взывающей к уголовным карам, можно и нужно напоминать о внешних обстоятельствах, толкнувших подсудимого на совершение преступных деяний и в иных случаях понижающих степень его личной вменяемости и ответственности. Но прокурорские ли перуны слышатся нам со страниц «Вех»? Грозят ли там карами, потрясают ли там томами уголовного кодекса? Думаю, что критика опять-таки от поспешности и взволнованности чувств сильно ошиблась.

Впервые раскрывая сборник «Вехи» уже после прочтения вышеупомянутой статьи, я приступал к его чтению с таким чувством, как будто мне предстояло войти в страшную судебную залу с зеркалом, жандармами у скамьи подсудимых и целым полчищем сурово-непреклонных прокуроров. Каково же было мое удивление, когда вместо лязга жандармских сабель я услышал бряцание кадила, вместо запаха казенного сургуча до меня донесся запах ладана и вместо прокурорских физиономий предо мною открылись то скорбно-плачущие, то вдохновенно воспламененные лица проповедников?

Было ясно: я попал не в окружной суд и не в судебную палату, а в часовню-исповедальню; здесь не обвиняли, а обличали; взывали не к каторге, а к покаянию. Ясно стало и другое: перед таким трибуналом в адвокатских услугах нет никакой надобности: ибо если цель прокурора — свести счеты с прошлым, то цель проповедника — строить будущее и к этому будущему готовить и звать заблудших овец своей паствы. Не говорите же проповеднику, что у обличаемых им зол были свои причины и смягчающие обстоятельства. Он все это знает не хуже вас. Но для его специальной цели ему совершенно нечего делать с этими смягчающими обстоятельствами. Прокурор может понизить из-за них меру наказания. Но проповеднику во что бы то ни стало необходимо изобразить грех во всей его ужасной мрачности, без всяких смягчений, ибо только распнув грех (не бойтесь: проповедники «Вех» распинают не гвоздями, а красноречивой прозой), он приготовит грешника на подвиг.

Вслед за указанием на причины недостатков интеллигенции и на смягчающие вину ее обстоятельства, на составителей «Вех» посыпались укоризны другого рода. Какова бы ни была интеллигенция — критиковать ее грешно и недопустимо для тех, кто сам вышел из ее рядов. Интеллигентская критика интеллигенции — это побои, наносимые собственной матери. Страшные слова! Но почему от этих страшных слов совсем не

страшно? Объяснить нетрудно. Патетические возгласы сильны лишь тогда, когда в них облечена логически правильная мысль. Пафос без логики только забавен. А здесь логика, можно сказать, рвется на каждом шагу. Вы требуете от интеллигента сыновнего послушания заветам интеллигентской традиции. Но разве, согласно этой самой традиции, свобода критики не есть самый животворящий фактор всяческого преуспеяния? Разве, согласно самой этой традиции, все то, что искусственно охраняется от прикосновения свободной критики, не обрекается этим на неминуемое разложение, не отдается в добычу плесени и смерти? Но если это так, то почему же вы хотите обречь на такую участь вашу столь чтимую вами мать, поставив русскую интеллигенцию за черту досягаемости для свободной критики, сделав из нее идола, перед которым можно только падать ниц и курить фимиамы? С которых пор для защитников интеллигентских традиций критика стала отождествляться с продерзостью и нарушением общественного спокойствия? Только крайней утратой душевного равновесия можно, думается нам, объяснить этот любопытный факт, обнаруживающийся в полемике о «Вехах»; оппоненты «Вех» наговорили таких вещей, которые должны быть признаны полной ересью прежде всего с точки зрения их собственного мирозерцания. Мысль о недопустимости критики русской интеллигенции, брошенная сначала в газетной статье в указанной выше патетической форме, нашла себе отголосок и в устной беседе того кружка, который устроил в одном из своих заседаний «суд над “Вехами”», описанный затем в газетах. Здесь уже не столько в патетической, сколько в казенно-бюрократической форме прямо спрашивали: «Кто дал авторам “Вех” право критиковать русскую интеллигенцию?». К сожалению, из газет не видно, было ли затем там указано, в какое учреждение и по какой форме надлежит подавать прошения о разрешении писать о русской интеллигенции.

Почему же не следует размышлять и говорить о недостатках русской интеллигенции? Потому ли, что она лишена недостатков? Но ведь и на солнце есть пятна... Да, отвечают нам на это критики «Вех», но, указывая на недостатки интеллигенции, вы подрываете веру в ее силы и тем содействуете укреплению общественной апатии и маразма. Вот еще довод, с которым никак нельзя согласиться.

Кто больше верит в силы интеллигенции — тот, кто боится самого разговора о ее недостатках и предпочитает в этом вопросе столь любезную бюрократическим сердцам казенную формулу «все обстоит благополучно», или тот, кто обращается к ин-

теллигенции с обличающими словами, зовя ее к усовершенствованию? Разве проповедник будет обличать тех, в чье возрождение он не верит? Самая страстность его обличений всегда доказывает силу его веры*. А вот поход против критики, боязнь вынести сор из избы, стремление на все накинуть розовую вуаль, упорствование в заговоре молчания относительно того, что подлежит исправлению, замена самокритики самолюбованием — вот в чем таятся опасные семена дряблости и разложения. Мы так хорошо умеем бичевать все эти слабости у нашей бюрократии, и вдруг оказывается, что применительно к нам самим эти слабости должны считаться за добродетель!

Всю эту полемику против «Вех» мы считаем, таким образом, неправильной в ее корне. В «Вехах» подняты вопросы первостепенной важности. Воззрения, развитые в статьях этого сборника, вызывают немало возражений и нуждаются в тем более внимательном разборе, чем важнее затронутые ими вопросы. А вместо подобного разбора «защитники» интеллигентских уст заявляют, как отрицание свободы критики и апологию самовосхваления. Я верю в благотворную силу критики, к чему бы она ни прилагалась, и во имя этой веры приветствую «Вехи» как честный голос убежденных людей, привыкших бороться не за идола, а за идеалы.

И как раз по этой-то причине я чувствую потребность поспорить с составителями «Вех» по многим основным положениям, развивающимся в их статьях. В настоящей заметке я не могу исчерпать всех возражений, какие я имел бы сделать «Вехам». И потому да не подумают читатели, что со всем тем, о чем мне приходится умолчать, я согласен. Мне хочется остановиться в первую очередь лишь на том, что имеет в моих глазах наиболее жизненное, практическое значение. Крупной заслугой сборника мне представляется яркое и меткое указание на те недостатки нашей интеллигенции, которые препятствуют ей развить настоящую огнеупорность в жизненной борьбе. Выразительно обрисованные в статьях Булгакова и Гершензона такие черты, как склонность к кабинетному доктринерству, оторванный от

* И в самом деле, в статье г. Булгакова мы читаем, например, такие строки: «...непрерывное и беспощадное давление на интеллигенцию полицейского прессы способно расплющить, совершенно уничтожить более слабую духом группу, и то, что она (т. е. интеллигенция) сохранила жизнь и энергию и под прессом, свидетельствует во всяком случае о совершенно исключительном ее мужестве и жизнеспособности» (Вехи, с. 27).

жизни духовный максимализм, сектантски обостренная нетерпимость к чужим мнениям, революционная романтика, соединенная с неустойчивостью в борьбе за конкретные, достижимые жизненные задачи, фразистый героизм в речах и планах и быстрое охлаждение к намеченным целям, лишь только обнаруживается невозможность сразу достичь их во всем объеме, — разве все это выдумка, а не подлинные явления нашей действительности, столь знакомые нам по жизненным наблюдениям? Отрицанием подлинности этих явлений и упорным провозглашением того сомнительного тезиса, что наша интеллигенция выше каких бы то ни было упреков, мы не убедим никого и только уподобимся столь заслуженно обличаемой нами бюрократии, которая в ответ на все указания критики издавна прибегает к огульному отрицанию всем известных фактов. Вместо замалчивания болезней лучше заняться их внимательным диагнозом и установлением методов лечения. Здесь-то я и разойдусь самым коренным образом с многими авторами «Вех». Но их диагноз глубоко ошибочен и их рецепты более чем сомнительны.

К чему прибегнуть для преодоления указанных выше недостатков? «К Церкви», — отвечает Булгаков; «к самоуглублению и слиянию с народом», — говорит Гершензон. Рассмотрим же эти рецепты.

Проповедь Булгакова отличается простотой и несложностью. В основе всех недостатков интеллигенции лежит начало человеческого «самообожения», начало «героического самоутверждения», порождающее затем такие черты, как «высокомерие и самомнение, сознание своей непогрешимости и пренебрежение к инакомыслящим и этот отвлеченный догматизм, в который отливается здесь всякое учение», а также «малодоступность интеллигенции доводам исторического реализма и научного знания». Все эти недостатки могут быть исцелены только одним путем — усвоением христианской морали и подчинением своего духа церковной дисциплине. Только тогда «самообожение» сменится «чувством греха» и «христианским смирением», которые как раз и несут с собою столь недостающие нашей интеллигенции черты: самообладание, самодисциплину, выдержку и выносливость, способность к настоящему самоотречению во имя высших целей не в виде быстро перегорающего экстаза, а в виде постоянного, стойкого и спокойного подвижничества, о неуклонность которого не могут не разбиться внешние силы. Только религиозно-практическая идея «послушания», своего рода светский аскетизм, привычка испол-

нять общественную обязанность как несение креста, возложенного Промыслом на плечи человека, — могут служить прочной основой для выработки сильной личности, достаточно закаленной для жизненной борьбы и в то же время умеющей соразмерять свои индивидуальные стремления с требованиями общего блага. Вся статья Булгакова и построена в сущности на этом психологическом противопоставлении двух общественных типов: героя и подвижника. Эта психологическая антитеза проведена Булгаковым с большим литературным талантом и в чтении может доставить поэтому немалое эстетическое удовольствие. Однако литературная красота этого изображения не дает ему внутренней убедительности. Тип религиозного подвижника достаточно известен, и нельзя не признать, что в изображении Булгакова он подвергся сильному ретушированию. Лишь только мы введем в сотканное нашим автором психологическое кружево реальные исторические черты названного типа, как тотчас же выясняется, насколько осторожно следует относиться к заманчивым обещаниям красноречивого проповедника. Он сулит нам в лице своих подвижников людей, умеющих умерять прямолинейность своих стремлений сознанием своей ответственности и чутьем реальных потребностей жизни. Он забывает только прибавить, что это будет ответственность перед велениями религиозного идеала, который по самому своему существу выдвигает на первый план чисто максималистический вызов земной действительности: одно из двух — либо жизнь должна безусловно и вполне капитулировать перед религиозным подвижником, либо, если это возможно, религиозный подвижник сам отвернется от жизни, заклеит ее как скопище греха и соблазна и гордо замкнется в свое нагорное уединение. Первое предполагает воинствующий фанатизм, второе порождает фанатический аскетизм; и то, и другое представляет собою настоящий духовный максимализм лишь в двух его различных проявлениях. А так как подчинение богатого разнообразия действительности обязательной схеме, хотя бы и религиозного характера, невозможно, то отсюда самым естественным исходом религиозного подвижничества и является в последнем счете бегство от непокорного мира, который «весь во зле лежит»¹. Вот о чем повествует история, и не ее вина, если изображение Булгакова не совпадает с ее показаниями. Правда, различные церковные организации более или менее успешно устанавливают своеобразные компромиссы между непреклонными запросами религиозного идеала и терпеливым служением временным земным задачам. Но это уже дело не религии, а Церкви — де-

ло, успешность которого всегда зависит от некоторой уступчивости в такой области, которая по самой своей идее не может терпеть никаких уступок. А вот в тех случаях, когда религиозное подвижничество разворачивается во всей своей широте и свободе, не сдерживаемое уздой мелких приспособлений к чуждым его духу задачам; когда его внутренняя природа предстает перед нами без всяких прикрытий — тогда и обнаруживается, как глубоко родственна эта природа всему тому, против чего восстает сам Булгаков. Как уже сказано, Булгаков потратил немало красноречия на противопоставление атеистического интеллигентского героизма подвижничеству, вдохновленному религиозным идеалом. Но когда ему захотелось отыскать наиболее подходящую историческую аналогию для современной борьбы наших интеллигентских партий, под его перо как-то само собой подвернулось сравнение... с религиозной борьбой реформационной эпохи! «Наше различие правых и левых отличается тем, — пишет Булгаков (Вехи, с. 65), — что оно более походит на разделение католиков и протестантов, с последовавшими отсюда религиозными войнами в эпоху Реформации, нежели на политические партии». Не зачеркнул ли автор этими строками добрую половину того, что он сам же написал в своем красноречивом очерке? Заманчиво рисуя свой идеал религиозного подвижничества, он как будто зовет нас в новые блаженные страны. Но не спешите следовать за ним, не посмотрев на с. 65 его очерка; там вы увидите, что, обогнув вместе с вами экватор, ваш путеводитель приведет вас опять к тому самому месту, откуда вы отправились.

Допустим, однако, что для людей известного душевного склада рецепт Булгакова окажется наиболее подходящим, наиболее оздоравливающим. Значит ли это, что все, не принадлежащие к избранной пастве Булгакова, не способные к восприятию религиозных настроений, безнадежно обречены на указанные выше недостатки? Я думаю, что — нет; я думаю, что существует другой путь к данной цели и этот путь состоит в усиленном и сознательном участии в практической общественной работе. Здесь мне придется посчитаться не только с Булгаковым, но, быть может, в еще большей степени с Гершензоном. М. О. Гершензон, формулируя приблизительно одинаково с Булгаковым отрицательные черты русской интеллигенции, видит их основной корень в крайне одностороннем направлении наших духовных стремлений, в преувеличенном нашем интересе к вопросам внешнего общественного устройства и к полному невниманию к внутренним запросам духа. «Русский интеллигент — это преж-

де всего человек, с юных лет живущий *вне себя*, в буквальном смысле слова, т. е. признающий единственно достойным объектом своего интереса и участия нечто лежащее вне личности — народ, общество, государство... думать о своей личности — эгоизм, непристойность; настоящий человек лишь тот, кто думает об общественном, интересуется вопросами общественности, работает на общую пользу... И вот люди совершенно притерпелись к такому положению вещей, и никому не приходит мысль, что нельзя человеку жить вечно снаружи, что именно от этого мы и больны субъективно, и в действиях бессильны» (Вехи, с. 70—71). И если С. Н. Булгаков зовет интеллигента для исцеления его душевных недугов под кровлю церковного храма, то М. О. Гершензон зовет его в храм собственного духа, приглашает его к самоуглублению, к работам над личным совершенствованием, ибо только самососредоточенная личность представляет собою крупную силу, которая может содействовать своим влиянием подъему общего уровня человеческой культуры.

Кто же будет отрицать справедливость последнего заключения? Но, думается мне, с Гершензоном произошло то, что нередко угрожает слишком пылким проповедникам, которые в увлечении звуками собственной речи порою совершенно забывают о своей аудитории, начиная, например, проповедовать о вреде чревоугодничества перед толпою голодных; неудивительно, если в этих случаях самый выдающийся ораторский талант не спасет проповедника от полного фиаско. Послушав Гершензона, можно подумать, что русская интеллигенция чуть ли не сплошь состоит либо из каких-то многоопытных дельцов в американском вкусе, либо из политических деятелей, проводящих всю жизнь на арене общественной борьбы, которая не оставляет им ни минуты досуга для размышлений над высшими проблемами индивидуального существования и личной морали.

Поистине можно сказать: «С кого они портреты пишут?» В самом деле, нашим обличителям не мешало бы конкретизировать указания на объекты своих обличений. Не делая этого, они не могут избежать немалой путаницы.

Кто эти русские интеллигенты, живущие «снаружи»? — М. О. Гершензон определяет их прежде всего как «людей Чехова», которые, по словам самого Гершензона, «просто коптили небо, не смея, да и не умея войти в себя или даже просто жить непринужденно» (Вехи, с. 83). Ссылка не из удачных, ибо «люди, коптящие небо», не только не живут «внутри себя», но и вообще не ведут какого бы то ни было сознательного и планомерного существования. Допустим, что «люди Чехова» не за-

нимались вдумчивым самоанализом. Но неужели на них можно указывать как на людей, наполняющих жизнь кипучей общественной работой или постоянными размышлениями над проблемами общественных реформ? Неужели это — фанатики общественного дела, против которых вооружается Гершензон? Очевидно, нет. Можно сказать даже, что в той вялой протрации, которая составляла удел «людей Чехова», они гораздо чаще оставались наедине со своей собственной духовной личностью, нежели забывали самих себя в водовороте общественной работы. Борясь с основами интеллигентского миросозерцания, наши обличители, конечно, должны иметь в виду прежде всего духовных вождей нашей интеллигенции и идущие от них основные течения интеллигентской мысли, а вовсе не это заштатное захолустье интеллигентского мира, на которое Чехов любил наводить лучи своего дивного таланта. Но приложима ли характеристика Гершензона к крупным течениям в жизни нашей настоящей интеллигенции? — Действительно ли наша настоящая интеллигенция не любила смотреть «внутрь себя» и все свои помыслы направляла «наружу»? Об этом Гершензон мог бы узнать много верного от своего соседа по сборнику Б. А. Кистяковского, прекрасная статья которого прорезывает, точно струя свежего воздуха, сгустившиеся на страницах «Вех» клубы ладана.

«У русской интеллигенции, — пишет Б. А. Кистяковский, — искони было признано, что все общественное развитие зависит от того, какое положение занимает личность. Поэтому даже смена общественных направлений у нас характеризуется заменой одной формулы, касающейся личности, другой. Одна за другой у нас выдвигались формулы: критически мыслящей, сознательной, всесторонне развитой, самосовершенствующейся, этической, религиозной и революционной личности. Были и противоположные течения, стремившиеся потопить личность в общественных интересах, объявлявшие личность *quantité négligeable*² и отстаивавшие соборную личность. Наконец, ницшеанство, штирнерианство и анархизм выдвинули новые лозунги самодовлеющей личности, эгоистической личности и сверхличности. *Трудно найти более разностороннюю и богатую разработку идеала личности...*» (курсив мой. — А. К.). И только один пробел отмечается почтенным автором во всей этой разработке: сознание русской интеллигенции никогда не выдвигало тот идеал личности, который должен был бы выдвинуться прежде всего при условии преобладающего интереса к вопросам внеш-

него общественного устройства, а именно — идеал *правовой личности!* (См.: Вехи, с. 104).

Не можем не предложить Гершензону подольше остановить свое внимание на только что цитированной странице редактированного им сборника. Он увидит отсюда, насколько неправильна набросанная им схема развития русской интеллигентской мысли. Как раз вразрез с утверждениями Гершензона не избыток, а страшный недостаток живой общественной работы и полная непривычка к ней породили все типические черты русского интеллигента, которые отмечены «Вехами» и на которые нет никакой нужды закрывать глаза. Слишком много монастырского уединения от реальной действительности, слишком много возни со своими личными ощущениями в ущерб живому и практически направленному интересу к общественной работе — вот что взрастило в интеллигентской психике и доктринерскую прямолинейность, и сектантскую нетерпимость, и отношение к личному героизму не столько как к средству завоевания общего блага, сколько как к самодовлеющей цели. Совершенно напрасно утверждает Гершензон, что помыслы русской интеллигенции в лице ее крупных представителей всегда были преимущественно направлены на проблемы внешнего общественного устройства, а не на проблемы индивидуального духовного совершенствования. Это утверждение нашего автора — не что иное, как результат своего рода оптического обмана. Нет нужды в том, что духовные вожди интеллигенции занимались по преимуществу общественными сюжетами; вопрос в том, как они подходили к этим сюжетам? Крупнейшие полосы в развитии нашей интеллигентской мысли как раз заключались в постоянном стремлении свести вопросы общественности к вопросам личной морали. Общественная работа интересовала не столько как путь к усовершенствованию общежития, сколько как средство упражнения и обнаружения своих личных душевных доблестей. Как древнерусский благотворитель раздавал милостыню не для того, чтобы уничтожить нищих, а для того, чтобы, пользуясь существованием нищенства, заслужить себе самому душевное спасение актами благотворительности, точно так же и русская интеллигенция привыкла интересоваться общественным делом не столько с точки зрения возможности достигнуть прочных осязательных результатов для самого этого дела, сколько с точки зрения возможности обнаружить при этом свою личную доблесть, свой личный героизм. Это — результат того, что мы как раз привыкли смотреть *внутрь себя* гораздо более любовным взором, чем окрест себя. Гершензону

не нравится то обстоятельство, что проблемы общественного блага совершенно вытесняют из нашего умственного обихода проблему личной морали. Но он совершенно проглядел отмеченное нами важное явление: самая проблема общественного блага сплошь и рядом чуть ли не сполна сводится нами к проблеме личного героизма. Вот почему мы так скудны интересом к молекулярной, последовательной, будничной общественной работе, несмотря на всю ее громадную важность и необходимость в интересах общежития, а в крупных общественных делах, способных воспламенить нас, — мы с таким легким сердцем бываем готовы поставить под риск конечный исход всего дела, лишь бы не упустить случая отвести свою собственную душу на актах личной отваги и личного самопожертвования. Не в том ли и заключается источник всех подобных явлений, что мы еще слишком мало привыкли считать себя членами общественного целого, что вопросы нашего *личного* духовного обихода стоят для нас всегда и во всем на первом плане. И если бы Гершензон внимательно всмотрелся в историю наших общественных мирозерцания и умственных течений, он увидел бы, что эта подмена общественных вопросов вопросами личного самоусовершенствования составляет давнишнюю традицию нашей интеллигенции, гораздо более живучую и распространенную, чем это кажется с первого взгляда: Михайловский и его школа в сущности относятся сюда несколько не в меньшей степени, нежели Лев Толстой и толстовцы. Воспитание личности есть великое дело, и вместе с авторами «Вех» я признаю его краеугольным камнем общественного процесса. Но я не могу отрешиться от того убеждения, что активная работа на общественной ниве, постоянное участие в устройении «внешних» условий нашего существования входит необходимым элементом в программу этого воспитания, недостатки которого объясняются у нас как раз тем, что в качестве работников общественного дела мы еще слишком неопытные дебютанты. И когда в виде рецепта для исцеления наших недостатков нам приписывают отграничение индивидуальных духовных запросов от общественной работы, когда нас зовут «внутри себя» — мне становится ясно, что в виде лекарства нам преподносят то самое питье, чрезмерное употребление которого расслабило наш духовный организм. Исповедоваться перед самими собой мы умеем отлично — за неимением положительного дела мы уже давно учились этому искусству, но практически и целесообразно применять результаты этих исповедей на действительное благо себя самих и наших сограждан — вот искусство, которое нам еще предсто-

ит приобрести и которое приобретается не в исповедальне и не в нагорных уединениях, а среди людей, в сутолоке жизненной борьбы, ценою практического опыта, неразлучного с ошибками и разочарованиями, но умеющего вознаграждать за эти разочарования последующими успехами и приносящего настоящий закал нравственной силе индивидуального духа.

Трудно понять, каким образом авторы разобранных статей, столь склонные к тонкому психологическому анализу, упускают из виду, что смущающие их недостатки русской интеллигенции — доктринерство, нетерпимость, духовный максимализм — выращаются как раз в атмосфере оторванности от общественного дела, при слишком одностороннем направлении духовного взора «внутрь себя» и, наоборот, только в живом столкновении с действительностью находят свой корректив.

«Вехи» сослужат немалую службу русскому обществу, если побудят его задуматься над своими недостатками. Но плоды этого раздумья вряд ли совпадут с выводами и призывами наших проповедников. Жизнь, всегда торжествующая над придуманными схемами, возьмет свое и научит тому, что воспитание личности немислимо без непрерывного внешнего и общественно-организационного проявления ее внутренней работы.

(Русская мысль. 1909. Май)

